



Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

Жестокий талант

(Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского.
Томы II и III. СПб. (1882))

<Фрагменты>

Человек — деспот от природы и любит быть мучителем.
Достоевский («Игрок»)

Тирания есть привычка, обращающаяся в потребность.
Достоевский («Дядюшкин сон»)

Я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать.
Достоевский («Записки из подполья»)

Странная вещь, эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых стал с ним дружен из злобы.
Достоевский («Крокодил»)

I

Опять Достоевский.

Да, опять Достоевский, и, может быть, это повторится еще не раз. Не то чтобы Достоевский представлял собою один из тех центров русской умственной жизни, к которым критика должна волей-неволей часто возвращаться ввиду бьющего в них общего пульса. Есть люди, которые желали бы сделать из него нечто подобное; но, несмотря на старательность этих людей, принимающихся за свое дело с терпением дятла, ничего как-то из их усилий не выходит. Один г. Орест Миллер¹ чего стоит! Он именно подобен дятлу, когда в своих статьях и публичных лекциях, им же несть меры и числа, восхваляет Достоевского, воздает хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: о Достоевский! Правда, этими склонениями и ограничивается роль г. О. Миллера как пропагандиста и комментатора, но все-таки подумайте, сколько тут вложено труда! А где результат? Более стремительный Владимир Соловьев действует

наскоком. Мне попалась как-то литографированная речь или лекция г. Соловьева о знаменитом покойнике. Она была построена приблизительно так: в мире политическом данной страной управляет всегда в конце концов один человек; то же самое и в мире нравственном: здесь всегда есть один духовный вождь своего народа; этим единым вождем был для России Достоевский; Достоевский был пророк божий! Я ручаюсь за слова «пророк божий» и за конструкцию этих размышлений, если можно назвать размышлениями переправу по жердочкам и грациозные прыжки с одной жердочки на другую без всякой мысли о том, чтобы как-нибудь укрепить их и связать. Во всяком случае переправа выполнена, г. Соловьев на том берегу и торжественно и победоносно кричит: вот пророк божий! Где же результат? Я не только не вижу результата, а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашенного им пророка. Какие-то совсем другие люди занимают сцену, а «пророка божия» не поминают в своих молитвах даже те, кто так или иначе хотел примазаться к имени Достоевского на его свежей могиле. Погибе память его с шумом. Шуму было много, это правда, но в сущности шумом все и кончилось. Шум составил из двух течений. Во-первых, всегда есть плакальщики, люди, особенно умиленно настроенные или настраивающие себя, которые, вместо того чтобы серьезно и трезво отнестись к потере, начинают, по простонародному выражению, вопить и причитать: такой-сякой, сухой-немазанный. Это бы еще ничего, конечно, потому что ведь, может быть, покойник и в самом деле такой-сякой. Но надо все-таки же об этом хоть с приблизительной точностью дать себе отчет, а не разбрасывать сокровища своего умиления, что называется, зря. А то придется по прошествии некоторого времени умиляться по новому поводу, и притом так, что о предыдущем не будет даже помину. Так именно и произошло со многими по случаю смерти Достоевского. Но кроме таких умиленных, которых, собственно, мамка в детстве ушибла, почему с тех пор от них и отдает умилением, а чем и как умиляться — это им безразлично; кроме, говорю, этих, есть еще разные более или менее тонкие политиканы. Такие не зря умиляются, а примазываются к умилению и тоже в грудь себя колотят и тоже ризы свои раздирают, но единственно в тех видах, чтобы «поймать момент». А прошел момент, прошла и нужда. Достоевский в последнее время перед смертью изображал из себя какой-то оплот официальной мощи православного русского государства в связи (не совсем ясной и едва ли самому Достоевскому понятной) с некоторым мистически-народным элементом. Ну, кто пожелал, тот в этих направлениях и примазался к имени крупного художника, в самый момент смерти загоревшемуся таким, казалось, ярким огнем. Прошло несколько времени, и где же вы теперь найдете у гг. Аксакова, Каткова² и иных следы их стенаний

и разодранных на могиле Достоевского риз? Где те поучения, которые они черпают в трудных случаях из творений столь прославленного учителя? Я, впрочем, отнюдь их в этом не виню. Они виноваты только в том, что раздули или старались раздуть значение талантливого художника до размеров духовного вождя своей страны («пророка божия»). Но если облыжно созданный вождь никуда не ведет их, то это вполне естественно.

Для наглядности припомните, что происходило какой-нибудь месяц тому назад. Умер генерал Скобелев³. Умер внезапно, будучи на вершине почестей и популярности. Разумеется, явились плакальщики (впереди всех, как водится, г. Гайдебуров в должности церемониймейстера) и политиканы (впереди всех г. Аксаков, расчищая место генералу Черняеву и графу Игнатьеву⁴ поближе к траурному катафалку Скобелева). Пройдет несколько времени, и если нашу родину постигнет скорбь войны, все не раз вспомнят «белого генерала», даже те, кто по справедливости считал бестактными и детскими его парижские ораторские опыты: дескать, вот бы тут Скобелева нужно! Или: был бы Скобелев жив, так было бы то-то и то-то! Конечно, будь белый генерал жив, может быть ему и счастье изменило бы, и разное другое могло случиться, но верно, что в случае войны его имя будет часто поминаться. Укажите же те трудные случаи, в которых сами плакальщики и политиканы, не говоря о простых смертных, вспомнили как бы с верою и надеждою о Достоевском: он бы выручил, он бы научил, показал свет! Ничего подобного не было, а со смерти Достоевского прошло только полтора года или, пожалуй, *уже* полтора года. Это время слишком короткое, чтобы забыть духовного вождя и божия пророка, и слишком продолжительное, чтобы не было случая со скорбным вздохом вспомнить о помощи, которую пророк оказал бы, если бы был жив. А припомните-ка, какие это были полтора года — волосы на голове дыбом встанут!

Но бог с ним, с этим вздором о роли Достоевского как духовного вождя русского народа и пророка. Этот вздор стоило отметить, но не стоит заниматься подробным его опровержением. Достоевский просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательного изучения и представляющий огромный литературный интерес. Только так изучать его мы и будем.

Тотчас после смерти Достоевского мы представили читателю беглую характеристику литературной физиономии покойника, предполагая с течением времени возвратиться к более подробному развитию некоторых частных. Между прочим, было упомянуто, что к тому страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три причины: уважение к существующему

общему порядку, жажда личной проповеди и *жестокость таланта*. Этой последней чертой мы и предлагаем читателю теперь заняться. Второй и третий темы полного собрания сочинений Достоевского представляют для этого прекрасный повод. Здесь собраны небольшие повести и рассказы, из коих некоторые большинство читателей едва ли даже помнят, но которые, однако, для характеристики Достоевского представляют огромный интерес. Во второй том вошли: «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Маленький герой»; в третий том «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил или необыкновенное событие в пассаже», «Игрок». Все это вещи весьма различной художественной ценности и весьма различной известности. Кто не знает «Бедных людей»? Ну, а, например, рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» едва ли многие читали. И по всей справедливости не читали: рассказ плох. Но для нашей цели этот ничтожный рассказ может оказаться очень полезным и важным. В этих мелочах Достоевский остается все-таки Достоевским со всеми особенными силами и слабостями своего таланта и своего мышления. В них, в этих старых мелочах, можно найти задатки всех последующих образов, картин, идей, художественных и логических приемов Достоевского. И было бы в высшей степени интересно совершить эту операцию вполне, от начала до конца; то есть проследить всю, так сказать, литературную эмбриологию Достоевского. Но этой задачи мы на себя не берем и посмотрим только на те черты повестей и рассказов, вошедших во второй и третий томы, которые оправдывают заглавие предлагаемой статьи: жестокий талант.

Прежде всего надо заметить, что жестокость и мучительство всегда занимали Достоевского, и именно со стороны их привлекательности, со стороны как бы заключающегося в мучительстве сладострастия. По этой части в его мелких повестях и рассказах рассыпано множество иногда чрезвычайно тонких замечаний. Примеры их приведены у нас в эпиграфе. Простая выписка их могла бы наполнить целые страницы; особенно если заимствовать их не из старых только мелочей Достоевского, а и из его позднейших вещей, когда в его творческой фантазии мелькал образ Ставрогина («Бесы»), который «уверял, что не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастной зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвою жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадение красоты, одинаковость наслаждения». Впрочем, и ниже, вовсе не ка-

саясь последних и крупных произведений Достоевского, мы увидим великолепные образчики того понимания и того интереса, которые он вкладывал в свои изображения мучительских поступков и жестоких чувств. Конечно, художник на то и художник, чтобы интересоваться и понимать: ему «звездная книга ясна», с ним «говорит морская волна». И хотя в звездной книге едва ли что-нибудь написано о жестокости, мучительстве, злости, да и морская волна о них не говорит; но раз эти вещи существуют и играют важную роль в человеческой жизни, художник должен интересоваться ими и понимать их. *Должен* — это, впрочем, немножко сильно сказано. Платон изгнал из своей идеальной республики поэта, «особенно искусного в подражании и способного принимать множество различных форм». Платон понимал величие такого художника и предлагал украсить его венками и облить благовониями, но вопреки прославленной многосторонности античного духа все-таки выпроваживал его из республики на основании «несовместности нескольких занятий в одном лице». Мы, конечно, не потребуем такой узкости и специализации поэтического творчества. Напротив, чем шире художник, чем больше струн души человеческой он затрагивает, тем он нам дороже. Но нельзя же требовать, чтобы поэт с одинаковой силой и правдой изобразил ощущения волка, пожирающего овцу, и овцы, пожираемой волком. Которое-нибудь из этих двух положений ему ближе, интереснее для него, что и должно отозваться на его работе.

Мне попался очень удобный по наглядности пример, и я думаю, что никто в русской литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такою тщательностью, глубиной, с такою, можно сказать, любовью, как Достоевский, если только можно в самом деле говорить о любовном отношении к волчьим чувствам. И его очень мало занимали элементарные, грубые сорта волчьих чувств, простой голод, например. Нет, он рылся в самой глубокой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие, сложные — не простое удовлетворение аппетита, а именно сладострастие злобы и жестокости. Эта специальность Достоевского слишком бросается в глаза, чтобы ее не заметить. Несмотря, однако, на то, что Достоевский дал в сфере этой своей специальности много крупных и ценных вещей, он как бы несколько противоречит другой, обыкновенно усваиваемой деятельности Достоевского черте. Останавливаясь на нашей метафоре, иной скажет, пожалуй, что Достоевский, напротив, с особенною тщательностью занимался исследованием чувств овцы, пожираемой волком: он ведь автор «Мертвого дома», он певец «Униженных и оскорбленных», он так умел разыскивать лучшие, высшие чувства там, где их существование никто даже не подозревал. Все это справедливо и было еще более

справедливо много лет тому назад, когда оценка Достоевского впервые отлилась в ту форму, которая и донныне господствует. Но, принимая в соображение всю литературную карьеру Достоевского, мы должны будем ниже прийти к заключению, что он просто любил травить овцу волком, причем в первую половину деятельности его особенно интересовала овца, а во вторую — волк. Однако тут не было какого-нибудь очень крутого поворота. Достоевский не сжигал того, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что сжигал. В нем просто постепенно произошло некоторое перемещение интересов и особенностей таланта: то, что было прежде на втором плане, выступило на первый, и наоборот. Добролюбов был в свое время прав, говоря об относительной слабости таланта Достоевского и о «гуманическом» направлении его художественного чутья. Однако и тогда уже были крупные задатки того большого, но жестокого таланта, который так пышно развернулся впоследствии. Второй и третий томы сочинений Достоевского как нельзя лучше свидетельствуют об этом.

Это целый тщательно содержимый зверинец, целый питомник волков разнообразных пород, владелец которого даже почти не щеголяет своей богатой коллекцией, а тем паче не думает об извлечении из нее прямой выгоды; он так тонко знает свое дело и так любит его, что изучение волчьей природы представляет для него нечто самодовлеющее; он нарочно дразнит своих зверей, показывает им овцу, кусок кровавого мяса, бьет их хлыстом и каленым железом, чтобы посмотреть на ту или другую подробность их злобы и жестокости — самому посмотреть и, разумеется, публике показать.

II

Начнем с того отделения зверинца, которое называется «Записки из подполья».

Подпольный человек (будем для краткости так называть неизвестное лицо, от имени которого ведутся «Записки из подполья») начинает свои записки некоторыми философскими размышлениями. При этом среди безразличных для нас в настоящую минуту, но не лишенных блеска и оригинальности мыслей он выматывает из себя перед читателем душу, стараясь дорыться до самого ее дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблачение происходит жестокое и именно в том направлении, чтобы предъявить публике «все изгибы сладострастия» злобы. Это уже само по себе производит впечатление чего-то душного, смрадного, затхлого; истинно, точно в подполье сидишь, или точно какой-нибудь неряха прокаженный снимает перед тобой одну за другой грязные тряпки

со своих гноящихся, вонючих язвин. Затем разоблачение постепенно переходит из словесного в фактическое, то есть идет рассказ о некоторых подвигах героя.

Разные мелочные и вздорные обстоятельства, среди которых он не перестает злиться и искать новых и новых поводов для злобы, приводят подпольного человека в веселый дом и оставляют его там ночевать. Здесь он заводит со своей случайной, минутной подружкой длинный и мучительный для нее разговор со специальной целью ее поучать. Он ее в первый раз в жизни видит, ничего, собственно говоря, против нее не имеет и иметь не может. Но в нем заговорили волчьи инстинкты. «*Более всего меня увлекала игра*», — вспоминает он. Дело удастся не сразу. Волк пробует подойти к намеченной жертве то с той, то с другой стороны, чтобы вернее вонзить зубы. «В тон надо попасть, — мелькнуло во мне, сантиментальностью-то не много возьмешь»... «пожалуй, и не понимает, — думал я, — да и смешно — мораль»... «картинками, вот этими картинками-то тебя надо! — подумал я про себя». Так поощрял себя подпольный специалист жестокости и злобы, оглядывая и обхаживая свою жертву. Он начал с рассказа о виденных им похоронах публичной женщины, похоронах печальных, бедных, жалких, какие, дескать, и тебе предстоят; потом заговорил о судьбе публичных женщин вообще, злорадно тыкая в больные места и ища каких-нибудь уже готовых ран, которые было бы удобно беречь. Потом пошли картинки противоположного свойства, розовые картинки семейного счастья, которого слушательница лишена. Между прочим, система мучительства и жестокости вкладывают сюда еще одну лепту, разумеется в соответственной случаю окраске. «В первое-то время, — говорит подпольный человек, — даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую: “так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй”. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» Простому сердцу несчастной слушательницы чужды эти утонченности, но «картинки» ее, видимо, пронимают, и подпольный человек так и сыплет ими, точно хлыстом хлещет ими свою жертву, уже прямо начиная предсказывать ей ее мрачную будущность, и болезнь, и смерть, и похороны, и все это выходит так безотрадно, так мучительно. Жертва пробует сопротивляться, оттолкнуть от себя эти назойливые, непрошенные видения недоступного счастья и неизбежного несчастья. Но подпольный человек увлечен «игрой» и умеет вести ее. Однако так как он только играет в волки и овцы, даже в помышлении не имея «из мрака заблужденья горячим словом убежденья» и т. д., то... Но пусть он сам рассказывает.

«Теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиев в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнее прикикала она к подушке; ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хотя одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилении, сдерживая дыхание и стискивая зубы».

Этого подпольный человек не ожидал и растерялся, а растерявшись, ни с того ни с сего дал Лизе (так звали публичную женщину) свой адрес и пригласил ее к себе. Понятное дело, что на другой же день подпольный человек стал злиться и на себя, и на Лизу. Не за то, что без нужды и цели, а, собственно, ради «игры» измучил ее, а за то, что пригласил к себе. Он утешал себя тем, что, может быть, она и не придет, что ее, «мерзавку», не пустят. Иногда ему приходило в голову самому съездить к ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходить. «Но тут, при этой мысли, во мне поднималась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту “проклятую” Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!» Прошел день, прошел другой. Лиза не шла. Подпольный человек начал было уже успокаиваться, как вдруг на третий день Лиза является и вдобавок застаёт нашего героя в самой неприглядной обстановке и в ссоре, чуть не в драке с лакеем. Он «стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуть полами своего лохматого ватного халатишка». После некоторых истерических прелюдий, ломаний и вывертов подпольный человек предложил Лизе чаю, и вот как он об этом вспоминает:

«— Пей чай! — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтобы отомстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. “Она же всему причина”, — думал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе, мы до него не дотрагивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтобы этим отяготить ее еще больше, ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя».

А затем пошли в ход уже настоящие волчьи клыки. Подпольный человек разразился длинным монологом, прямо рассчитанным на то, чтобы вконец заколотить званую, но не желанную гостью; в ту памятную для нее ночь он врал, смеялся над ней, издевался; он приехал, чтобы отомстить одному человеку, а так как этого человека налицо не оказалось, а подвернулась она, то на нее и вылилась его злоба, ему до нее никакого дела не было и нет и т.д., и т.д. Но расчеты подпольного человека оказались неверными, или по крайней мере эффект его монолога оказался совершенно для него неожиданным. Из всей его злобной речи Лиза поняла только, что он несчастлив, бросилась к нему, обняла и зарыдала. Подпольный человек на минуту смутился, но тотчас же в сердце его «вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство — чувство господства и обладания». Подпольный человек поступил со своей гостьей, как с публичной женщиной, грубо, оскорбительно, так что она ощутила оскорбление, и сунул ей на прощанье в руку пятирублевую бумажку (которую она не взяла — оставила на столе). Он прибавляет в этом месте своего рассказа, что сделал эту жестокость, то есть сунул бумажку, «со злости». Девушка ушла, и тем «Записки из подполья», собственно говоря, и кончаются.

Я очень бегло изложил содержание этой повести, минуя множество чрезвычайно тонких подробностей. Вся повесть представляет какое-то психологическое кружево. Но я думаю, что и из тех грубых очертаний, которыми передана повесть у меня, видно, как глубоко интересовался Достоевский явлениями жестокости, тиранства, мучительства и как пристально он к ним приглядывался. Может быть, самое интересное в «Записках из подполья» — это беспричинность озлобления подпольного человека против Лизы. Вы не видите причин его озлобленности вообще. Человек является на сцену сорокалетним мужчиной, вполне готовым, и что в его жизни так изломало его — остается, говоря слогом Кайданова, покрыто мраком неизвестности. Точно вся его гнусность каким-то самозарождением должна объясняться или даже никакого объяснения не требует. На этот счет в повести есть только общие фразы, лишённые определенного содержания вроде того, например, что подпольный человек отвык от «живой жизни» и прилепился к жизни «книжной». Но положим, что автор просто так и хотел готового злеца и мучителя изобразить, и во всяком случае это его, автора, дело, а не черта характера подпольного человека. Гораздо любопытнее то обстоятельство, что подпольный человек начинает мучить Лизу в самом деле решительно ни с того ни с сего: просто она под руку подвернулась. Ни причин для злости против нее нет, ни результатов никаких подпольный человек от своего мучительства не предвидит. Он предается своему занятию единственно из любви

к искусству, для «игры». С этою ненужною жестокостью мы еще встретимся. А теперь заметим только, что самая постановка картин жестокости в рамки ненужности свидетельствует о цене, которую давал Достоевский этому сюжету. Герой мог бы мучить Лизу с благою целью наведения ее на путь истины; мог бы мстить ей за какую-нибудь обиду, насмешку и т. п. Картина потрясенной души во всех этих случаях была бы на лицо. Но Достоевский отверг все внешние, посторонние мотивы: герой мучит, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цели тут нет, да вовсе их, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость безусловная, жестокость *an und fur sich*⁵, и она-то интересна.

По этой или по какой другой причине, но довольно трудно сказать, как относится Достоевский к своему герою. В двух-трех заключительных строках он называет его от себя безразличным в нравственном отношении именем «парадоксалиста». Что касается умственного багажа подпольного человека, то здесь можно найти очень различные вещи; между прочим, и такие философские размышления (например, о свободе воли), которые не имеют ровно никакого отношения к жестокости, а также такие, которые очень родственны самому Достоевскому. В «Записках из подполья», например, впервые еще в неясной и вопросительной форме является одна из излюбленных мыслей последних лет деятельности Достоевского. Подпольный человек пишет: «И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти — это факт». Если читатель припомнит, как впоследствии Достоевский страстно проповедовал страдание, как он видел в страдании интимнейшее требование духа русского народа; как он возводил в перл создания острог и каторгу; если читатель припомнит все это, то, может быть, удивится, встретив ту же мысль в записках жестокого зверя. Но в том-то и вопрос — зверь ли еще подпольный человек с точки зрения Достоевского. Мнения подпольного человека о самом себе на первый взгляд поражают беспощадностью: всякую, по-видимому, мерзость человек готов рассказать. Но, всматриваясь в эту странную исповедь несколько ближе, вы видите, что подпольный человек очень не прочь не только порисоваться своей беспощадностью к самому себе, а и оправдаться до известной степени. Прежде всего он вовсе не считает себя уродом, человеком исключительным по существу.

Он, правда, полагает себя действительно исключительным человеком, но только по смелости мысли и ясности сознания. Он говорит, например: «Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благо-разумие и тем утешались, обманывая сами себя». В другом месте, пространно толкуя о «наслаждении в зубной боли», подпольный человек утверждает, что *всякий* «образованный человек девятнадцатого столетия» на второй, на третий день зубной боли стонет уже, собственно, не от боли, а от злости. «Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стопами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрыгает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так, со злости, с ехидства балуется. Дескать, “я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, почувствуйте и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну, так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну, так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю...”» Не понимаете и теперь, господа? Нет, надо, видно, глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия!

Таким образом, разница между подпольным человеком и большинством образованных людей девятнадцатого столетия состоит только в том, что он яснее сознает истекающее из злобы наслаждение, а пользуются-то этим наслаждением все. Такое обобщение значительно смягчает самобичевание подпольного человека. На людях и смерть красна. Не очень уже, значит, скверен подпольный человек, если все таковы; он даже выше остальных, потому что смелее и умнее их. Пусть же кто-нибудь из «образованных людей девятнадцатого столетия» попробует бросить в него камнем.

Кроме этого смягчающего или даже возвышающего обстоятельства, подпольный человек решил бы, может быть, выставить еще одно. Читатель видел, что в числе розовых картин, которыми подпольный человек мучительно ущемлял душу Лизы, был абрис женщины, мучающей своего мужа из любви. А затем следовало обобщение «знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» О себе же подпольный человек прямо говорит: «Любить

у меня значило тиранствовать и нравственно превосходить. Я всю жизнь не мог даже себе представить иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог: что делать с покоренным предметом?» Если разумеет дело так, что вот, дескать, урод, даже любви никогда не ощущавший, то, конечно, нужно много смелости и искренности, чтобы сделать такое заявление. Любовь, кажется, чувство достаточно общедоступное и достаточно само себя вознаграждающее. Чтобы испытать его, не требуется какой-нибудь особенной умственной или нравственной высоты, и, должно быть, в самом деле жалкий, скудный урод тот, на языке которого любовь и тиранство однозначны или по крайней мере всегда сопутствуют друг другу. Это так. Ну, а если эта кажущаяся скудость мыслей и чувств — совсем не уродство, а только глубина «проникновения» в душу человеческую? Что, если душа, ну, положим, хоть не человека вообще, а только образованного человека девятнадцатого столетия так уж устроена, что любовь и тиранство в ней неизбежно цветут рядом? Простому смертному не понять этого, да мало ли что! Простой смертный любит на красоту красивого лица, а ученый человек подойдет с микроскопом, да и увидит в этом красивом лице целую сеть очень некрасивых морщин, рытвин и пр. Так же и тут. Тонкие психологи, вроде подпольного человека и самого Достоевского, могут находить в душе такие вещи и такие сочетания вещей, которые нам, простым смертным, совершенно недоступны. И если в самом деле любовь и тиранство растут, цветут и дают плоды рядом, даже переходя друг в друга; если это некоторым образом закон природы, то опять-таки кто из образованных людей девятнадцатого столетия посмеет бросить камнем в подпольного человека? Камень неизбежно отскочит от него, как от стены горюх, и поразит самого метальщика. И, значит, подпольный человек опять оправдан и даже возвеличен. Ведь уж не о себе лично, а в виде общего наблюдения он говорит: «Знаешь ли, что можно из любви нарочно мучить человека?»

Такое скептическое отношение к лучшим или вообще благожелательным чувствам едва ли ограничивается в подпольном человеке одною любовью. Эпиграфом к рассказу о встрече с Лизой (он имеет отдельное заглавие «По поводу мокрого снега») взяты стихи Некрасова: «Когда из мрака заблужденья горячим словом убежденья я душу падшую извлек» и т. д. В устах подпольного человека эти слова — чистейшая ирония, потому что хотя Лиза действительно «стыдом

и ужасом полна», «разрешилася слезами, возмущена, потрясена», но этого результата подпольный человек вовсе не имел в виду и, как мы видели, занимался просто «игрой» в волки и овцы. Но недаром же поставлен такой эпиграф, и от скептического ехидства подпольного человека можно ожидать самых обобщенных киваний на Петра: дескать, если бы такой казус с кем-нибудь из вас, господа, произошел, так вы не преминули бы продекламировать стихи Некрасова и иметь при этом чрезвычайно душеспасительный и даже геройский вид, ну, а я знаю, как эти дела делаются, знаю, что если даже действительно вы о спасении падшей души думали, то все-таки тут примешивалось много желания помучить человека, потерзать его; я знаю это и рассказываю про себя откровенно, а вы за высокие чувства прячетесь... Справедливо это объяснение или нет, но достоверно, что в подпольном человеке каждое проявление жизни осложняется жестокостью и стремлением к мучительству. И не случайное это, конечно, совпадение, что сам Достоевский всегда и везде тщательно разглядывал примесь жестокости и злобы к разным чувствам, на первый взгляд не имеющим с ними ничего общего. В мелких повестях, собранных во втором и третьем томах сочинений Достоевского, рассыпаны зародыши этих противоестественных сочетаний, зародыши, получившие впоследствии дальнейшее развитие.

В «Крокодиле» намечено сочетание дружбы со злобой («странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы»). Ниже мы встретимся с чрезвычайно своеобразным выражением этого сочетания в «Вечном муже».

В «Игроке» есть некая Полина — странный тип властной до жестокости, взбалмошной, но обаятельной женщины, повторяющийся в Настасье Филипповне — в «Идиоте», и в Грушеньке — в «Братьях Карамазовых». Этот женский тип очень занимал Достоевского, но в разработке его он всю жизнь ни на шаг не подвинулся вперед. Пожалуй, даже первый абрис — Полина — яснее последнего — Грушеньки. Но и Полина напоминает собой какое-то облако, что-то туманное, не сложившееся и не могущее сложиться в вполне определенную форму, вытягивающееся то в одну, то в другую сторону. Между этой Полиной и героем «Игрока» существуют чрезвычайно странные отношения. Она его любит, как оказывается, впрочем, уже очень поздно, а между тем третирует, как лакея, и даже хуже, чем лакея. В каждой подробности ее отношений к «Игроку» сквозит «что-то презрительное и ненавистное». Игрок ее тоже любит, и она знает об этом и именно поэтому всячески издевается над ним, приказывает делать разные глупости, мучит намеренною циничностью и пошлостью своих разговоров. Правда, что в ней это, кажется,

фатально. По крайней мере в отношении ее наружности встречается одна очень курьезная и характерная черта: «следок ноги у нее узенький и длинный — *мучительный, именно мучительный*». Что же уж тут поделаешь, коли следок ноги мучительный! В свою очередь и герой хорошенько не знает, действительно ли он любит Полину или, напротив, ненавидит. По одному случаю он записывает: «И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее! Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: “бросьтесь вниз”, то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением».

В повести «Село Степанчиково и его обитатели» есть вводное лицо, старичок Ежевикин, играющий роль шута, на вид очень добродушный и всем желающий угодить, а в сущности очень ядовитый — прототип целого ряда старых шутов в последующих произведениях Достоевского. Дочь Ежевикина, бедная гувернантка, находящаяся в особенно трудном положении, полагает, что отец представляет из себя шута *для нее*. По ходу повести это предположение очень вероподобно, но сам Достоевский решительно его отрицает. Он говорит, что Ежевикин «корчил из себя шута просто из внутренней потребности, чтобы дать выход накопившейся *злости...*».

Впрочем, в «Селе Степанчикове» есть лица гораздо более интересные, чем злобный старый шут Ежевикин.

III

Владелец села Степанчикова, Егор Ильич Ростанев, отставной гусарский полковник, есть настоящая овца, смиренная и благодушная до глупости. Всякий охочий человек может на нем ездить сколько душе угодно, оскорблять его, тиранить, и он же будет считать себя виноватым перед своим тираном и просить у него прощения. Таковы именно его отношения к матери, вдове генеральше, несноснейшей по глупости и наглости женщине, которая, живя на шее у сына и терзая его на всякие манеры, все находит, что он эгоист и недостаточно к ней внимателен. Но тиранство матери совершенно бледнеет перед тем, что терпит полковник Ростанев, да и все обитатели села Степанчикова от некоего Фомы Фомича Опискина. Это чрезвычайно любопытный экземпляр волчьей породы. Объявился он сначала в доме покойника

мужа генеральши «в качестве чтеца и мученика», попросту приживальщика, много терпевшего от генеральского издевательства. Но на дамской половине генеральского дома он разыгрывал совершенно другую роль. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, которое он поддерживал душеспасительными беседами, снотолкованиями, прорицаниями, хождением к обедне и заутрене и проч. А когда генерал умер и генеральша перебралась к сыну, Фома Опискин стал решительно первым человеком в доме. Из прошлого Фомы с достоверностью известно только, что он потерпел неудачу на литературном поприще и потом множество обид от своего генерала. И он, значит, был овцой, по всей вероятности злобной, паршивой и вообще скверной, но во всяком случае униженной и оскорбленной овцой по своему общественному положению. А теперь вдруг получилась возможность разыграть его волчьим инстинктам. «Теперь представьте же себе, — говорит Достоевский, — что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы — в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы — хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и обольщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований?»

Действительно, можно себе представить, какая обер-каналья должна была получиться при таких условиях! А впрочем, если читателю покажется, что подобную каналью представить себе очень уже легко, то он ошибется. Легко-то легко, но не ему, простому, хотя бы чрезвычайно пронизательному читателю, не погружавшемуся надолго и по доброй воле во все извилины мрачных лабиринтов пакостной человеческой души. Легко — знатоку и любителю, каков Достоевский. Достоевский, однако, пожелал почему-то на этот раз предъявить своего зверя в несколько комическом освещении — каприз художника, который может всегда вернуться опять и опять к своему сюжету и перепробовать на нем всевозможные освещения. Тем более что комический колорит при этом только сдобривает впечатление, заставляя вас время от времени улыбнуться; но, спустив улыбку с губ, вы тотчас же понимаете, что перед вами во всяком случае злобный тиран и мучитель.

Вот образчик мучительства Фомы Опискина.

«— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. — На кого

похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру или нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди (полковника Ростанева) тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал, как порох, при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнется, жметесь и не знает, что предпринять.

— Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.

— *Mais repondez donc*⁶, Егорушка, — подхватывает генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горит в вас эта искра или нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уже распоряжение генеральши.

— Ей-богу, не знаю, Фома, — отвечает, наконец, дядя, с отчаянием во взорах. — Должно быть, что-нибудь есть в этом роде, и, право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа. Вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так, пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну, когда я это хотел сказать?

— Нет, вы именно это хотели сказать.

— Да клянусь же, что нет!

— Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я все перенесу...

— *Mais, mon fils!*⁷ — вскрикивает испуганная генеральша.

— Фома Фомич! Маменька! — восклицает дядя в отчаянии. — Ей-богу же, я не виноват! Так разве, нечаянно, с языка сорвалось! Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп, сам чувствую, что глуп».

И т. д. Конечно, Фома смешон, мелок и глуп со своими приставаниями; но, чтобы быть жестоким тираном, вовсе не требуется величавой и трагической физиономии. Вообще мучителям делают слишком много чести, представляя их себе непременно какими-то гигантами. Напротив, при кровопийственном комарином жале они обладают большей частью и комариным ростом. Пример — Фома Опискин, жалкое, дрянное ничтожество, которое, однако, может отравить жизнь слишком деликатным или слабым людям своим мелочным, но назойливым и наглым жужжанием. Взвесьте муки, доставляемые каким-нибудь сильным, острым страданием, и сравните их с теми мелочами, что

хронически терпит человек, осужденный на сожительство с Фомой Опискиным, и еще неизвестно, которая чашка весов перетянет. Вы видите, что несчастная овца-полковник совершенно забит, запуган тою деревянною пилою, которою Фома неустанно пилит его изо дня в день. Полковник готов дать своему мучителю какой угодно выкуп, унижить себя, назвать дураком, провалиться сквозь землю, вывернуться наизнанку, лишь бы кончилось это словесное пиление. Но Фоме Опискину никакого выкупа не нужно, ему нужна только пища для злобы и мучительства, и это его алкание ненасытно: пусть полковник еще и еще пожметя, повертится, потерзается, и когда мучитель наконец устанет, он оставит свою жертву до следующего раза. Только усталость и может положить конец подобному мучительству; усталость, а не сытость, ибо здесь сытости и быть не может. На какие бы уступки жертва ни шла, каждый ее шаг дает только новый повод для терзаний; все равно как каждое движение рыбы на удочке неизбежно терзает ее внутренности. Фома не добивается никакого определенного результата, достижение которого положило бы конец его операции; для него самый процесс мучительства важен, процесс самодовлеющий и, следовательно, сам по себе безостановочный.

Раз полковник предложил Фоме пятнадцать тысяч, чтобы он только убрался тихим манером из дому. Фома разыграл трагическую сцену с этими, как он выразился, «миллионами», расшвырял деньги по комнате, надругался над полковником всласть, заставил его просить у себя прощения и в конце концов не взял денег, но и из дому не ушел. Некто Мизинчиков отзывается об этом случае так: «Отказался от пятнадцати тысяч, чтобы взять потом тридцать. Впрочем, знаете что: я сомневаюсь, чтобы у Фомы был какой-нибудь расчет. Этот человек непрактический, это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли, он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться». Впоследствии, когда по одному, совершенно особенному случаю полковник наконец поступил с своим мучителем физически и буквально вышвырнул его за дверь, Фома смирился. Он даже устроил счастье полковника, конечно со всякими вывертами и ломаниями. Но тем не менее Мизинчиков прав: Фома человек непрактический — ему нужно ненужное.

Трудно, разумеется, положить границу между нужным и ненужным. То, что вовсе не нужно, например, русскому мужику, может быть необходимо английскому лорду, а по прошествии некоторого времени и русский мужик потребует вещей по-теперешнему ненужных. Вообще, кроме прямого удовлетворения самых элементарных потребностей в воздухе, пище, крове, одежде, все теперь нужное было когда-то совсем ненужно. Бывает и наоборот, что потребности упраздняются, нужное

отходит в область ненужного. Иногда это дело изменчивой моды, иногда — коренного изменения условий жизни. Но если, таким образом, между нужным и ненужным нельзя установить безусловную границу, то в известном обществе, стоящем на известном уровне, уловить границу условную вовсе уж не так трудно. Запутанность подробностей или пристрастие исследователя могут, конечно, затемнить дело и поставить под сомнение даже такой, например, вопрос, как: нужна ли свобода русской печати, или это ненужная роскошь? Но в принципе тут все-таки никакой трудности нет. Тем более что в крупных по крайней мере вещах условная, историческая граница между нужным и ненужным отмечается обыкновенно или большими общественными непорядками, или присутствием крупных, выдающихся личностей, новаторов, которые ищут чего-то, по общему мнению, ненужного, но долженствующего стать, может быть, завтра же нужным. Не будем спорить о самой механике процесса; не будем говорить о том, отдельные ли выдающиеся личности создают новую потребность, или упраздняют старую, или, наоборот, они своею деятельностью только подводят итог разрозненным и непродуманным стремлениям массы. Для нас этот вопрос безразличный, который притом же отвлек бы нас далеко в сторону. Так ли, сяк ли, но достоверно, что в больших и в малых делах, в области отвлеченной теории и житейской практики от времени до времени являются особенно требовательные люди, которые не довольствуются нужным, которым нужно даже противно, а дорого и важно ненужное. Для них томительна приевшаяся сфера нужного, того, что всем требуется и без чего никто уже не может жить. Они требуют от жизни если не неизведанного и еще загадочного нового по существу, то по крайней мере какой-нибудь приправы к пресному нужному...

Вы ждете, конечно, разговора о тех представителях человечества, которые ищут новых истин, новых форм справедливости и ценою страшных усилий, страданий, а иногда самой жизни своей переводят их из области ненужного в область нужного, обращают во всеобщую потребность; о тех людях, про которых сказано, что никто в своей земле пророком не бывал; о тех, кого соотечественники и современники далеко не всегда встречают с распростертыми объятиями, а, напротив, слишком часто гонят, чтобы потом, через много лет, потомки задали себе безуданно повторяющийся в истории вопрос: как это можно было гнать и распинать тех людей? И как можно было считать ненужным то, чего они добивались?

Да, эти люди сюда относятся. Но не о них пойдет у нас разговор, потому что нас ждет Фома Опискин, который тоже сюда относится. Не смущайтесь этим сопоставлением «пальца от ноги», по выражению

Менения Агриппы⁸, с красотой и гордостью людского рода. Оно только на первый взгляд кажется оскорбительным для человеческого достоинства. Дело в том, что двери ненужного очень широки и через них входят в жизнь и добро, и зло. Римская чернь времен упадка Рима орала: «Хлеба и зрелищ!» Но не всегда же «зрелища» были так же нужны, как хлеб, а тем паче те жестокие, кровавые зрелища, которыми наслаждались выродившиеся римляне. Кто-то когда-то сделал эти зрелища равными насущному хлебу. Кто сделал — сильные ли своим нравственным влиянием, или официальной мощью личности, или же сама проголодавшаяся и развращенная чернь, это опять-таки для нас в настоящую минуту безразлично. Но достоверно, что особенное раздражение нервов, даваемое кровавыми зрелищами, прежде ненужное, стало потребностью и что первые, кто ощутил эту потребность, вводили в жизнь ненужное и были своего рода новаторами, требовательными натурами, не довольствующимися нужным хлебом. Таким образом, не совсем прав король Лир, говоря: «Дай человеку то лишь, без чего не может жить он, — ты его сравнишь с животным». Это правда, но неполная правда, полправды. Другая же половина правды состоит в том, что и ненужное, без чего жить очень и очень можно, обращаясь в нужное, равняет иногда человека с животным. Все дело в свойствах того ненужного, к которому стремятся требовательные натуры, и в степени их влияния на своих соотечественников и современников. Ненужное может быть возвышенно и даже превышать человеческие силы и способности; но оно может быть и низменно до скотства. И в том и в другом случае его может усиливаться ввести в жизнь слабосильное ничтожество и действительно крупная сила. Понятно, какие различные комбинации могут выходить из этих четырех данных.

Возвращаясь к Фоме Опискину, надо будет признать, что он слишком мелок, чтобы положить печать своего образа и подобия на сколько-нибудь значительный круг людей. Но представьте себе, что он обладает какою-нибудь внутренней силою; представьте себе, например, что он не неудачник-литератор, а обладает, напротив того, большим и оригинальным дарованием, оставаясь в то же время Фомой Опискиным по натуре.

Впрочем, покончим сначала с портретом Фомы, тогда дело будет виднее.

По теперешним условиям нашей жизни курицу к обеду зарезать или быка убить нужно, но мучить при этом быка и курицу, растягивать их агонию, отрубать им предварительно ноги, колесовать — не нужно. Это зрелище уж, конечно, не скрасит вашего обеда, а разве испортит его. Фоме, напротив, важно как раз именно это ненужное. Он нарочно протянет убийство курицы, чтобы опоздать с обедом, все

время злиться и с удвоенною жестокостью следить за судорожными вздрагиваниями жертвы. Это стремление к ненужному доходит в Фоме до совершенной глупости, которая была бы сама по себе смешна, если бы от нее не страдали люди. Был, например, в селе Степанчикове дворовый мальчик Фалалей, очень красивый, очень наивный, глупый и всеобщий баловень, а этого последнего было совершенно достаточно, чтобы Фалалей стал предметом завистливой злобы Фомы. Но главным покровителем Фалалея была сама генеральша, которая наряжала его, как куклу, да и любила, как хорошенькую куклу. Этого препятствия Фома не мог преодолеть напролом, а потому избрал окольный, но верный путь. Он сам пожелал быть благодетелем Фалалея и начал свои благодеяния с обучения мальчугана «нравственности, хорошим манерам и французскому языку». «Как! — говорил Фома. — Он всегда вверху, при своей госпоже, вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например: донне муа мон мушуар⁹ — он должен и тут найтись и тут услужить!» Но Фалалей оказался глуп на всех диалектах, к книжному же обучению, тем паче французскому, совсем неспособен. Отсюда источник его мучений. Допекал его Фома, допекала и дворня прозвищем «француза». Вдруг Фома узнает, что камердинер полковника, старик Гаврила, осмелился выразить сомнение в пользе французской грамоты. А Фома тому и рад, рад тою злобною радостью, которая хватается за всякий случай приложить к делу особенно ненужное, виртуозное надругательство: в наказание он засадил за французский язык самого Гаврилу. А затем происходит такая, например, сцена. В присутствии целого общества он обращается к старику камердинеру:

«— Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостоите подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. Ну, француз мусью шематон — *терпеть не может, когда говорят ему: мусье шематон*, знаешь урок?

— Вытвердил, — отвечал повесив голову Гаврила.

— А парлэ-ву-франсе?¹⁰

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе...»¹¹

Разумеется, всеобщий хохот веселой компании; старик обижается; поднимается страшный скандал, за которым мы уж следить не будем. Нас еще несчастный Фалалей ждет. Обратите только внимание на эту злостную черту: Фома, издеваясь над Гаврилой вообще, не упускает случая всадить ему еще специальную шпильку мусью шематона, чего тот *терпеть не может*. Этого-то Фоме и нужно. Он тщательно изучает, по мере своих сил и способностей, что кому не нравится,

именно затем, чтобы, при случае, отточить из собранных материалов ядовитую шпильку.

Так как Фома обучает Фалалая, кроме французского языка, еще нравственности и хорошим манерам, то однажды предъявляет его публике под таким соусом:

«— Поди сюда, поди сюда, нелепая душа; поди сюда, идиот, румяная ты рожа!

Фалалей подходит, плача, утирая обеими руками глаза.

— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: “Натрескался пирога, как Мартын мыла!” — Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, а тем более в высшем? Сказал ты это или нет? говори!

— Ска-зал! — подтверждает Фалалей, всхлипывая.

— Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

— Я тебя спрашиваю, — пристаёт Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек — кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

— Дво-ро-вый че-ло-век, — отвечает, наконец, Фалалей, продолжая плакать.

— Чей? Чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать — чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах».

На другой же день после истории с Мартыновым мылом Фалалей как ни в чем не бывало, подавая утром Фоме чай, рассказал ему, что видел сон «про белого быка». Фома пришел в ужас, распушил полковника, а Фалалая подверг, кроме того, наказанию — стоянию в углу на коленях. Причину же такого гнева можно усмотреть из следующего реприманда: «Разве ты не можешь, — говорил Фома Фалалею, — разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающих в прекрасном саду?» Фому белый бык возмущал как доказательство «грубости,

невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея». Фалалей обещал исправиться, но — увы! — и на следующий, и на третий день, и подряд целую неделю видел во сне все того же белого быка, хотя даже молился на ночь, чтобы его не видать. Соврать же он по глупости и правдивости своей не догадывался. Все в доме трепетало от ярости Фомы, Фалалей даже исхудал, и сердобольные бабы уже спрыснули его с уголька, как вдруг история кончилась сама собой, измором, потому что Фома был отвлечен другими делами.

Довольно, кажется. Мы можем пренебречь другими подвигами Фомы, которых еще много, и все они в том же роде. Фома есть один из любопытнейших экземпляров волчьей породы, в этом не может, конечно, быть никакого сомнения — все его действия и даже слова запечатлены самою свирепую жестокостью. Но вместе с тем он, по верному определению Мизинчикова, непрактический человек и, пожалуй, «в своем роде какой-то поэт» — все его вышеизложенные поступки поражают своею ненужностью. Словами «ненужная жестокость» исчерпывается чуть не вся нравственная физиономия Фомы, и если прибавить сюда безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин. Он никакой выгоды из своей жестокости не извлекает, он предается мучительству по непосредственному требованию своей волчьей натуры, что называется, *так*. Он — чистый художник, поэт злости и тиранства без малейшей утилитарной подкладки. И чем вычурнее, необыкновеннее осенивший его голову проект мучительства, тем для него приятнее. Дайте Фоме Опискину внешнюю силу Ивана Грозного или Нерона, и он им не уступит ни на один волос, «удивит мир злодейством». Дайте же ему какую-нибудь внутреннюю силу, произойдут вещи, в некоторых отношениях еще более любопытные.

Представьте себе, как уже выше было сказано, что Фома Опискин не бездарность, потерпевшая фиаско на литературном поприще, а напротив — большой талант. Прежде всего большой талант, конечно, смягчит в Фоме Опискине карикатурно грубые черты физиономии. «Гений и злодейство несовместны», — говорит Пушкин устами своего Моцарта. Это неправда — очень совместны. Но все-таки с крупным талантом несовместны такие дурацкие формы, в какие облекается тиранство Фомы: талант придаст им известное изящество, красоту, привлекательность, так что даже далеко не всякий догадается, что имеет дело с мучителем по призванию натуры. Затем так как перед нами литературный деятель, то мы должны иметь в виду главным образом именно эту его деятельность, а до частной его жизни нам, пожалуй, и никакого дела нет. О подлинном Фоме Опискине, то есть о том, который показывается в зверинце Достоевского, одни полагали, что он высокой и святой жизни человек, другие были совершенно

противного мнения. Относительно *нашего* Фомы не может быть даже и разговора на этот счет. Нам только интересно знать, как отразится в крупном литературном таланте ненужная жестокость, освободившись от глупости, грязи и ничтожества Фомы Опискина.

IV

Жестокий талант, который при этом получится, выберет преимущественно темой для своих произведений страдание и будет заставлять страдать и своих действующих лиц, и своих читателей. Конечно, это может сделать и самый мягкий, даже приторный талант. Совершенно естественно, что на теме страдания построено многое множество литературных произведений, потому что литература есть только отражение жизни, а в жизни страдания слишком довольно. А раз за обработку этой темы берется настоящий талант, то опять-таки естественно, что он вызовет у читателя слезы сочувствия или негодования, вообще заставит его перестрадать известное страдательное положение. Но отличительным свойством нашего жестокого таланта будет ненужность причиняемого им страдания, беспричинность его и бесцельность. Наш жестокий талант будет именно вышеупомянутой требовательной натурой, которой нужное совсем ненужно, для которой нужное слишком пресно. Формальным образом на архитектуре романа или повести это отразится непомерными и совершенно нехудожественными длиннотами, вводными сценами, отступлениями во всех тех случаях, когда будет соблазн мучительно пощекотать нервы читателя или подвергнуть жестокому воздействию кого-нибудь из персонажей. При этом внутренняя сторона всех этих отступлений и вводных картин не будет вызываться течением романа, не будет соответствовать жизненной правде, не будет иметь нравственного смысла, не будет шевелить у читателя мысль. Все это условия или требования нужного, и все это жестокий талант презрит и повергнет к подножию ненужного страдания. Просто для того, чтобы помучить какого-нибудь, им самим созданного Сидорова или Петрова (а вместе с ним и читателя), он навалит на него невероятную гору несчастий, заставит совершить самые вычурные преступления и терпеть за них соответственные угрызения совести, проволочит сквозь тысячи бед и оскорблений, самых фантастических, самых невозможных. Житейское, обыденное, нужное он оставит без внимания или уделит ему таковое в самом ничтожном размере. Зато каждый мельчайший штрих, каждую микроскопическую подробность ненужного страдания разовьет с тщательностью виртуоза. Понятное дело, что если бы такую работу представила жестокая бездарность, то, конечно, ничего, кроме насмешки, в вознагражде-

ние не получила бы, потому что тут нарушены все общепризнанные, и основательно общепризнанные, условия литературного творчества. Но ведь мы имеем дело с талантом, а талант имеет привилегию владеть душой живу во все, за что он принимается. Он так предъявит вам свое ненужное, невозможное, невероятное, уродливое, фантастическое, что вы не оторветесь, и не до насмешки вам будет, потому что вы действительно перестрадаете предъявленное вам страдание. Он отуманит вам голову своими образами и картинами, заставит усиленно биться сердце, и разве в те *lucida intervalae*¹², когда во время самого чтения найдет на вас трезвость, вы спросите себя: и за что он этого Сидорова или Петрова так мучит? За что и меня вместе с ним так мучительно щекочет? За что и зачем? Совсем ведь это не нужно. Ни в каком смысле не нужно? Это какой-то испанский бой быков происходит. Следя с напряженным вниманием за перипетиями этого отвратительного зрелища, я вместе со всеми зрителями ощущаю прилив и отлив различных чувств, я увлечен, я весь превратился в зрение и слух. Но разве нужно, чтобы бык распорол брюхо лошади, посадил на рога пикадора и получил ловкий смертельный удар от матадора?

Разве нужно? В том-то и дело, что нужно, если целая масса людей любит на эти мерзости; нужно в смысле ощущений, ставших потребностью, хотя никаких иных оправданий они, разумеется, за себя представить не могут. Вернее будет, однако, сказать, что *было* нужно, потому что испанцы, кажется, начинают отставать от этого, как говорится на нашем политическом жаргоне, самобытного развлечения. Но, во всяком случае сравнительно еще очень недавно, все путешественники по Испании описывали восторг и увлечение, с которым публика, со включением прекрасного слабого, нежного пола, аплодировала быку, сажающему на рога пикадора, и матадору, вонзающему шпагу в быка. Было, однако, и в поэтической Испании время, когда бой быков был вещь ненужною, когда он просто даже совсем не значился в числе самобытных испанских удовольствий. Эта потребность привилась не вдруг, как не вдруг теперь упраздняется. Можно поэтому думать, что раздумье, в которое впадают по временам читатели и почитатели жестокого таланта, с течением времени будет постепенно ослабевать и ослабевать, пока наконец возбуждение, определяемое ненужною жестокостью автора, станет потребностью, столь же сильною, как испанская потребность в бое быков и римская потребность в зрелищах. Конечно, для такого результата нужно совпадение довольно сложных обстоятельств. Первым делом жестокий талант должен быть действительно большим и оригинальным талантом, способным «глаголом жечь сердца людей». Но и за всем тем он может промелькнуть падучей звездой, если в окружающей и читаю-

щей его среде не будет налицо подходящих условий. Если, например, общество будет иметь перед собою какую-нибудь широкую задачу или целый ряд задач, достаточных для поглощения его внимания, то жестокий талант просуществует бесследно, хотя его, разумеется, будут читать. Может быть, спустя долгое время, при совершенно иных условиях жизни, его вспомнят и упьются им до опьянения, особенно если явятся подходящие продолжатели, подражатели, толкователи. Так не раз случалось в истории мысли и творчества. Какой-нибудь Шопенгауэр, например, ум гениальный, в свое время не произвел впечатления, какого заслуживал, а через несколько десятков лет воскрес в Гартмане, мыслителе очень ловком, но разве достойном только развязать ремень у сапога Шопенгауэра. Понятное дело, что если читающий люд окажется на мели, то есть будет сидеть без дела, без настоящего, увлекающего дела, и только заниматься делами да обделывать дела, то жестокий талант примется с распростертыми объятиями: от безделья и то рукоделье. Тут надо, впрочем, оговориться. Дела у людей, собственно говоря, всегда довольно, слишком довольно, и нет такого ни времени, ни племени, перед которыми не стояли бы задачи достаточно широкие, чтобы заниматься ими, а не упиваться боем быков. Для признания такого простого положения совсем не требуется быть узким ригористом и считать, что «печной горшок всего дороже» на свете, ибо «в нем пищу мы себе варим». Нет, есть вещи несравненно более дорогие, чем печной горшок, но уж наверное это не бой быков. И, однако, несмотря на это постоянное присутствие задач, достойных всецелого внимания общества и даже как раз в пору их особенной настоятельности, жестокий талант может стать героем своего времени, прибежищем для общественного внимания, ищущего куда бы ему приткнуться. Это тогда может случиться, когда общество поставлено к лежащему перед ним делу в такое же отношение, в каком лисица стоит к винограду в басне Крылова. Если дело есть и для всех это ясно, потому что дело выросло из самых недр истории, но посторонние обстоятельства не позволяют его делать, то взбудораженная энергия, не находя себе правильного исхода, обращается к разным низменным ненужностям наркотического свойства. В числе их могут быть и те ощущения, которые даются произведениями жестокого таланта. При таких условиях читатель покорно, даже с некоторым восторгом пойдет на те ненужные мучения, каким подвергает его вместе со своим Сидоровым или Петровым жестокий талант. Выдуманная и не только выдуманная, а прямо-таки совсем ненужная мука станет потребностью, для удовлетворения которой явится целая фаланга подражателей и продолжателей нашего жестокого таланта. Понятно, что и в самой жизни, в «живой жизни», говоря словами подпольного

человека, эта потребность в ненужных мучениях и эта привычка к ним должны отразиться различными трудно определимыми, но уж, разумеется, не хорошими последствиями. Надо помнить, что мучения эти имеют отраженный характер. Не то чтобы в самом деле читателя в три кнута били. Нет, бьют на его глазах Сидорова или Петрова, бьют ни с того ни с сего человека ни в чем не повинного, но бьют вместе с тем так художественно, что читателю становится любо смотреть на это отвратительное зрелище; просто любо, без малейшего участия других чувств и мысли.

Все это я говорю в том предположении, что жестокий талант есть поэт, беллетрист. И, кажется, все это само собой естественно вытекает из основной характеристической черты нашего очищенного и преображенного Фомы Опискина — ненужной жестокости. Гораздо труднее вывести все последствия ненужной жестокости, если формой литературной деятельности ее носителя будет публицистика. Оно, пожалуй, на первый взгляд даже и нетрудно, особенно нам, русским, имеющим в букете своей публицистики такую благоуханную розу, как Катков. В самом деле, что такое классическое детоубийство, столь назойливо проповедуемое на Страстном бульваре в Москве¹³, как не точный сколок с водворения французского языка Фомой Опискиным в селе Степанчикове: вуй, мусью, же ле парль эн-пе — и от этих магических слов нравы смягчаются. Очень похоже, это правда, но все-таки это только родственная черта, а не черта тождественности. Родственных черт можно найти еще довольно много, потому что жестокость Каткова и его склонность к насилию совершенно чрезвычайны. Но в качестве публициста он преследует все-таки известные практические задачи, добивается известных результатов. Мотивы его деятельности, вероятно, очень разнообразны. Тут, надо думать, есть и действительное убеждение, и упрямство, и самодурство, и растерянность публициста, много лет пользовавшегося небывалым у нас влиянием и видящего в конце концов, что ничего путного он из своего влияния не сделал. Но так или иначе, по тем или другим побуждениям, а Каткову нужно, например, как Марату, сто тысяч голов¹⁴ — он их и требует; нужно, чтобы, кроме него, в печати никто не смел слова пикнуть — он этого и добивается; нужно, чтобы все читали Гомера и Виргилия в подлиннике — он и пропагандирует. Фоме Опискину никаких таких результатов не надо. Он, вероятно, подал бы руку Каткову и почтил бы его деятельность своим сочувствием и уважением, но ему лично нужен только самый процесс мучительства. Он, например, был бы очень счастлив, если бы имел возможность пилить своей словесной пилой сто тысяч человек изо дня в день, но не до умерщвления, а так, чтобы они неустанно корчились от душевной боли, а он бы их все попиливал,

да потыкивал, да поджаривал. Спрашивается: как же вместить эту беспричинность и безрезультатность мучительства в публицистику, имеющую непременно дело с причинами и результатами? Очень трудно вместить, и придется, пожалуй, решить дело так, что чистым публицистом наш жестокий талант совсем и быть не может. Он может по временам делать экскурсии в эту область, но центр тяжести его деятельности должен непременно лежать в художественной сфере, где у поэта, как говорится, своя рука владыка. Вызвал из мрака небытия Сидорова, и тешься над ним сколько душе угодно: художник ведь не обязан предъявлять доводы и аргументы, почему, зачем, за что пьет Сидоров такую горькую чашу. Наконец, область искусства допускает один прием, представляющий переход к публицистике. Стоит только автору вложить одному из действующих лиц свои собственные мысли. И можно, кажется, предвидеть, что жестокий талант будет прибегать к этому приему довольно часто, растягивая притом монологи своего подставного я до совершенно нехудожественной длинноты. Оборот для жестокого таланта очень удобный. Темой для его рассуждений в публицистической форме должно остаться все то же ненужное, беспричинное и безрезультатное страдание. Но здесь она должна получить вид уже не безнужно страдающих образов, а вид практического требования. Ну, а как же так-таки прямо от своего имени требовать мучений для людей? Гораздо удобнее вложить это требование в уста какого-нибудь «парадоксалиста», какого-нибудь эксцентрического человека. А впрочем, мы сейчас увидим, что жестокий талант может в конце концов придумать форму для прямого требования страдания от своего собственного лица, обставляя, разумеется, дело разными карриатидами и другими якобы поддерживающими здание украшениями.

Но читатель, пожалуй, усомнится в самой возможности таких безнужно жестоких людей. Он слышал, что люди мучают людей из мести, корысти и т. п. И когда страсть отуманит голову, жестокость если не извинительна, то по крайней мере понятна в пылу одури. Но так мучить, ради одной игры фантазии, ради одного художественного созерцания мучений — бывает ли это? К сожалению, несомненно бывает. Об этом свидетельствует история, знающая Ивана Грозного, Нерона и других жрецов чистейшего и утонченнейшего искусства мучительства. Об этом свидетельствует исторический же факт удовольствия, которое иногда в течение целых длинных периодов доставляют людям зверские зрелища. О том же свидетельствуют разные житейские мелочи, если вы захотите к ним приглядеться. Об этом же свидетельствует психологическая наблюдательность такого крупного художника, как Достоевский, который, не говоря о последующих его произведениях, создал хотя бы только подпольного человека и Фому Опискина.

Достоевский удостоверяет, что «человек — деспот от природы и любит быть мучителем»; что есть люди, находящие в мучительстве сильнейшее и напряженнейшее наслаждение — сладострастие; что можно с наслаждением мучить не только ненавистного, а и любимого человека. И как же нам не поверить, наконец, этому, ну хоть не пророку божию — это уж г. Соловьев в забвении чувств хватил, — но, во всяком случае, чрезвычайно тонкому наблюдателю? Тем более что, независимо от представленных им поэтических образцов ненужной жестокости, Достоевский сам был одним из любопытнейших ее живых образцов. Он был именно тот жестокий талант, о котором сейчас шла речь...

Если бы картонные мечи умиленных плакальщиков, хитроумных политиканов и так себе пустопорожних людей, уже давно полуизвлеченные из ножен, могли рубить и колоть, то, конечно, я был бы в эту минуту повержен множеством ударов. Как! Достоевский — звезда русской литературы и едва ли не правило веры и образ кротости, уличается в жестокости, да еще совершенно ненужной, сравнивается с таким дрянным ничтожеством, как Фома Опискин! Только узкое пристрастие лагеря, партии может довести до такой дерзости!

В таком роде что-нибудь скажут умиленные плакальщики, хитроумные политиканы и так себе пустопорожние люди, а не скажут, так подумают, с прибавкой, конечно, еще многих и разнообразных нелестных для меня вещей. До этих господ мне решительно никакого дела нет. Но я боюсь, чтобы кто-нибудь из благомыслящих читателей, сбитый с толку елейной репутацией Достоевского, не предъявил не то что этих возражений, потому что какие же это возражения? — а этих попреков. Это было бы огорчительно. Дело в том, что лагерное, партийное отношение к Достоевскому невозможно. Ни к какой определенной партии он не принадлежал, а тем паче не оставил после себя школы. Можно только сказать, что в чисто литературном отношении некоторые наши молодые беллетристы, к сожалению, соблазнились примером Достоевского и пытаются заниматься безнужным мучительством, предполагая, вероятно, что в этом, и только в этом, состоит психологический анализ. Затем, к различным наметившимся у нас политическим партиям Достоевский был одними сторонами ближе, другими дальше и просто не обладал тем, что можно назвать политическим темпераментом. Он был прежде всего художник, радующийся процессу творчества, и потом проповедник, имеющий дело исключительно с личностью и ее судьбами. Политическую же жизнь и ее формы он не то что понимал правильно или неправильно — это бы еще подлежало обсуждению, а просто не интересовался ими. Совсем они были чужие ему, всеми своими вкусами влекомому к разбирательству интимнейших личных дел и делишек. Оттого, когда под конец разные случайные

обстоятельства толкнули его на путь публицистики, ему случалось проговариваться нелепостями, которые казались бы колоссальными, если бы они не были так комичны. То вдруг брякнет, что крепостное право само по себе нисколько не мешает идеально-нравственным отношениям между господами и крепостными. То изречет пророчества, что мы возьмем в самом скором времени Константинополь, а турки пойдут торговать халатами и мылом, как будто бы было с татарами после взятия Казани. Понятное дело, что политиканы, мечтающие о возрождении крепостного права в обновленной и юридически совершенно правильной форме, а также пустопорожные люди, желающие прибить свой щит к воротам Цареграда, были рады этой косвенной поддержке со стороны крупного литературного таланта. Понятно также, что люди, имеющие нечто против крепостного права, даже чрезвычайно и по новейшей моде разукрашенного, и полагающие, что мы можем пока обойтись и без Константинополя, не могли с радостным чувством слышать эти пустяки из уст писателя, который пользовался обширной и заслуженной известностью, хотя и совсем по другой части. Изволь еще там разбирай, по какой части: *Достоевский* говорит, и это уже очень и очень важно для многих. Отсюда радость одних и огорчение других. Но никогда ни одни, ни другие не считали маломальски серьезно Достоевского политическим деятелем или опорой партии. А потому, повторяю, партийное пристрастие не имеет по отношению к Достоевскому никакого *raison d'être*¹⁵, особенно теперь, после его смерти.

Вся политика и публицистика Достоевского представляет сплошное шатание и сумбур, в котором есть, однако, одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, беспричинная, безрезультатная жестокость. И если я сопоставлю Достоевского с его же созданием, Фомой Опискиным, то, конечно, очень хорошо понимаю, что первый умен и талантлив, а второй глуп и бездарен. О житейских отношениях Достоевского нам ничего не известно, да, пожалуй, и не надобно знать, ибо мы хотим только видеть, как житейская ненужная жестокость Фомы Опискина отражается в *литературной* деятельности Достоевского.

Начнем с конца, то есть с публицистики, потому что тут дело стоит проще и яснее всего, хотя довольно и трудно, едва ли даже возможно говорить о публицистике Достоевского, не касаясь его беллетристики.

Катков негодует на слабость приговоров суда присяжных и требует «строгих наказаний, острога и каторги». Достоевский тоже негодовал на слабость приговоров суда присяжных и требовал строгих наказаний, острога и каторги. Но разница вот в чем. Негодование и требование Каткова стоят на чисто утилитарной почве: он ратует

за расшатанную «дисциплину», требует, чтобы вообще обитатели земли русской, недостаточно «подтянутые», были наконец подтянуты в удовлетворительной степени. Достоевский стоял в своем требовании вне всяких утилитарных соображений. Самый вопрос: зачем строгие наказания, острог и каторга? — не существовал для него, хотя ему поневоле приходилось в публицистической своей деятельности вертеться около этого вопроса. Однако и тут он больше сворачивал на другой, собственно говоря, необыкновенно странный вопрос: кто хочет строгих наказаний и проч.? Кто хочет страдания вообще? Понятно, что такая постановка чрезвычайно удобна для человека, не умеющего, не желающего мотивировать свое требование, принужденного почему-нибудь скрывать свои истинные мотивы или, наконец, просто плохо сознающего их. (Последнее случается гораздо чаще, чем, может быть, думает читатель: сплошь и рядом человек всю жизнь не отдает себе отчета в истинных мотивах своей деятельности.) Чрезвычайно удобно вместо всякой аргументации по самому существу дела сослаться на какой-нибудь могущественный в данном случае авторитет: дескать, он, авторитет, хочет. Ну, а авторитету этому можно и собственное хотение подсунуть. Достоевский перепробовал, кажется, все подобные авторитеты. Мы видели, что уже подпольный человек говорит о желании людей страдать, о том, что они «любят до страсти» страдание. Затем, в последующих своих беллетристических произведениях, Достоевский с особенною любовью останавливался на тех отдельных случаях, когда человек в самом деле ищет страдания, пожалуй именно любит его, в искупление когда-то совершенного им греха. С этой целью он заставляет своих действующих лиц совершать вычурные, фантастические преступления или по крайней мере питать того же сорта мысли, чтобы потом они могли страдать, страдать, страдать. Достойно внимания, что человек иногда бывает готов идти на страдание по совершенно иным мотивам, но Достоевский не признавал их законными и если вводил в свои произведения, то непременно в язвительном тоне. Сейчас мы увидим, в чем тут дело. Во всяком случае, человек сам хочет и любит страдать, а это авторитет в данном случае достаточно высокий; уж если сам хочет страдать, так незачем и рассуждать о причинах и целях страдания, — пусть себе страдает. Но Достоевский не удовольствовался этим авторитетом, основательно, может быть, соображая, что не всякий поверит такой любви человека к страданию. С течением времени он прибавил авторитет самого бога, а затем авторитет русского народа, и около этого последнего столба, собственно, и вертелась вся его политика и публицистика, излагавшаяся от его собственного имени в «Дневнике писателя» и от имени действующих лиц романов «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

При ближайшем рассмотрении открылось, видите ли, что не человек вообще любит и хочет страдать, а именно русский человек. Французский, немецкий, турецкий и всякий другой иностранный человек остается по этому пункту даже как бы в сильном подозрении. Коренная же черта русского человека, особливо сохранившаяся в народе, состоит в неудержимом стремлении к страданию. Из этого центра идут в разные стороны радиусы в виде весьма, впрочем, немногочисленных теоретических и практических выводов. Типическим образчиком едва ли не всех их в совокупности может служить такое рассуждение. Адвокаты, прокуроры, судьи и, под влиянием их, присяжные заседатели (а если присяжные принадлежат к так называемой интеллигенции, то и совершенно самостоятельно) в качестве людей, оторвавшихся от национальной почвы, не понимают потребности русского народа в страдании; они оправдывают преступника-мужика, тогда как он сам хотел бы попасть на каторгу и даже преступление-то совершил именно, может быть, затем, чтобы потом пострадать от угрызений совести или в остроге, или на каторге.

Странные, дикие, невозможные размышления, но Достоевский их высказал целиком. И, конечно, одною жестокостью их объяснить нельзя. К жестокости таланта, которою мы теперь заняты и которая, натурально, должна прорезываться главным образом в беллетристике, в настоящем случае прибавлялись еще другие элементы, упомянутые в заметке по поводу смерти Достоевского: уважение к существующему общему порядку и склонность к личной проповеди, вообще к постановке всех вопросов на личную почву. Этих элементов мы теперь касаться не будем и отметим только следующее обстоятельство.

«Человек — деспот от природы и любит быть мучителем», — говорит Достоевский устами «Игрока». «Человек до страсти любит страдание», — говорит тот же Достоевский устами подпольного человека. Мучить или мучиться или и мучить и мучиться вместе — вот, значит, не только судьба человека, а и глубокое требование его природы. Как в экономии природы существуют волки и овцы, так в экономии взаимных людских отношений существуют и должны существовать мучители и мученики. Спрашивается, как же с мучителями-то быть? Как к ним относиться? Вы скажете, может быть, что поступать с ними надо так же, как с волками, то есть просто гнать и бить их. Отнюдь нет. Волки человеку неуютны и неудобны, оттого он их и бьет, а тут сам человек любит быть мучителем и сам же любит страдать — двойное оправдание для существования мучителей. Поэтому общий порядок вещей, создающий мучителей и мучеников, представляет собою нечто священное и неприкосновенное, и Достоевский на разнообразные манеры преследовал всех, кто словом, делом или помышлением

посягал на этот неприкосновенный общий порядок. Только в своей речи на пушкинском торжестве Достоевский согласился признать их право на имя русских людей.

Но если общий порядок вещей неприкосновенен, то из этого отнюдь не следует, разумеется, что столь же неприкосновенны отдельные личности мучителей. Нет, тут надо разбирать. Есть формы мучительства грубые, аляповатые, какими, например, пробавляется Фома Опискин. Такое мучительство заслуживает всяческого посмеяния и всяческой кары. Оно и понятно: мало-мальски тонко развитый художник или даже просто человек, обладающий некоторым художественным чутьем, будет, конечно, неприятно оттолкнут подобным безобразием. Но есть и другие формы мучительства, более изящные, более интересные, которыми при случае можно даже пококетничать, открыто заявляя, что я, дескать, люблю помучить людей, но посмотрите-ка, насколько я, в самооплевании и самоунижении своем, все-таки выше простых смертных. О! такого интересного и красивого мучителя можно взять под свое покровительство: можно назвать его не каким-нибудь бранным словом, которого он вполне заслуживает, а мягким и интересным именем «парадоксалиста»; можно вложить ему свои собственные мысли и, следовательно, как бы даже отождествить его с собой... По крайней мере так любезно поступил Достоевский с подпольным человеком.

